

С. Ф.

ФЕНИКС

Книга 1



С. Ф.
Феникс

«Автор»

2026

Ф. С.

Феникс / С. Ф. — «Автор», 2026

Есть города, которые старше себя самих. Есть граница, которую каждый из нас пересекает дважды в сутки — засыпая и просыпаясь. И есть те, кто научился открывать её — и выпускать в мир кошмары, выкормленные нашим страхом. Аналитик Серафима после сокращения получает предложение, слишком похожее на мечту: корпорация «Меридиан», идеальный офис, вежливые улыбки. Странные только вопросы в пятничных опросах: «Хорошо ли вы спите?» Она умеет главное — видеть насквозь и слышать фальшь, и слишком поздно понимает, что именно за это её и выбрали. Улыбки коллег запаздывают на полсекунды. В закрытых каналах на неё уже принимают ставки. А уволиться мало: охота ходит не за местом — за человеком. «Феникс» — роман о живом против морока. О внимании — забытой силе, с которой начинается выход из колеса перерождений. И о чуде, которое не приходит само.

© Ф. С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Гнездо	5
Интерлюдия I. Сфинкс	6
Пролог. Ночь отменённого океана	8
Глава 1. Серафима	10
Глава 2. Скорый	13
Г	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

С. Ф. Феникс

Часть первая. Гнездо



Интерлюдия I. Сфинкс

Ему снится сон.

Это странно уже само по себе — стражи не спят. Но сон — его вещество, его служба и его граница. И раз в тысячу лет вещество затягивает самого стража. Так река в конце концов затягивает мост, который слишком долго стоял над ней.

Во сне он лежит у кромки воды. Вода двоится. Она тёмная и северная, в граните — и она же жёлтая и медленная, в песках. Сон не видит противоречия, сну всё равно. Рядом стоит человек. Лица у человека нет. Во сне вообще нет лиц, есть только присутствия. И имени Сфинкс не знает тоже. Знает одно: человека надо предупредить. Для этого сон и пришёл.

И Сфинкс рассказывает. О себе он говорит в третьем лице. Стражи не говорят «я», у «я» слишком много дверей.

Слушай, говорит он. Сфинкс — это страж границы. Граница проходит не между странами и не между мирами, а ближе: между сном и явью. И каждый живущий пересекает её дважды в сутки, не предъявляя документов. С той стороны лежит нижний этаж сна, и там горит огонь, который называют огнём вечного сна.

В этом огне горят твари.

Не спеши их жалеть. Огонь им не мука — огонь им карантин. Он не жжёт их, а держит. Потому что твари эти не созданы, как создано всё живое, — они выросли. Выросли из того, что люди роняют в сон. Из страхов, из стыда, из непрощённого и недодуманного. У них нет ничего своего — ни тел, ни имён, ни лиц. Всё, что на них, ворованное. Кошмар — существо, сшитое из чужого, и потому больше всего на свете он хочет одного: выйти туда, где чужого много.

Сами они выйти не могут. Дверь с той стороны не открывается. У кошмаров нет рук. Дверь открывают с этой стороны.

И находились люди, умевшие её открыть и знавшие зачем. В старых списках их зовут тёмными жрецами, и пусть имя останется. Жрец — тот, кто кормит. Тёмный жрец не создаёт кошмаров и не управляет ими. Он их только выпускает — и устраивает так, чтобы кормили другие.

Выйдя на волю, кошмары ходят по миру в образе живых людей, и всё на них — лица, походки, голоса — сидит почти как надо. Почти.

Но сам по себе кошмар не может ничего.

Совсем ничего. Он не может ударить, взять, отнять, догнать. Выйдя из-под сна, он ходит по миру пустой и голодный, неприкаянный, как нищий у чужого праздника, — до тех пор, пока человек не сделает за него всю работу. Это делается просто. Достаточно посмотреть на кошмар и испугаться. Страх — его хлеб и его кровь. Испуганный взгляд — то же, что для тебя вдох. Чем сильнее ты боишься, тем больше его становится, и растёт он не сам по себе — он растёт тобой, из тебя, как пламя растёт из полена. Человек, боящийся кошмара, кормит своего палача с руки. А тысяча человек, боящихся вместе, способна выкормить такое, что потом веками разгребают.

Тёмные жрецы знают это лучше других. И потому главная их работа одна: убедить людей, что кошмары всемогущи. Это их лучшая ложь и единственная по-настоящему опасная. Не верь ей. Вывернутое наизнанку узнаётся по шву. Ищи шов.

Люди, конечно, всё это забыли. Люди всегда всё забывают. Это не слабость — память смертных коротка, чтобы боль не жила дольше человека. Сфинкс знает это. Потому, уходя со своей границы в долгий караул, о котором здесь не место рассказывать, он позаботился о людях единственным способом, каким страж может позаботиться о тех, кого больше не сможет сторожить.

Сфинкс оставил людям напоминание о том, что...

Здесь сон обрывается. Всегда — на этом месте. Вода поднимается, присутствие человека тает, и последние слова уходят под неё, как уходит под лёд неоконченная фраза. Сфинксу снится этот сон раз в тысячу лет.

А может быть, всё наоборот, и это человеку — какому-то человеку, где-то, — раз в тысячу лет снится Сфинкс, который рассказывает ему сон о себе. С той стороны границы не разберёшь. Оттуда вообще всё выглядит иначе.

Пролог. Ночь отменённого океана

Есть города, которые старше себя самих.

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта тысяча восемьсот первого года по Санкт-Петербургу шёл мокрый снег. Он падал на гранит набережных и таял, не решаясь лежать. Гранит был розов, стар и привезён из таких каменоломен, о которых даже подрядчики говорили неохотно. Нева стояла подо льдом, и лёд едва слышно пел — тонко, на одной ноте, как поёт бокал, когда по краю ведут мокрым пальцем. Старики в ту зиму говорили, вполголоса и не при всяком, — что так лёд поёт к покойнику в большом доме. Молодые смеялись. Молодым вообще было весело в ту ночь, у генерала Талызина допивали шампанское.

Их было около сорока — гвардейские офицеры, генералы, несколько человек в штатском. Через двор шли молча, и снег глушил шаги, словно был с ними в доле. Михайловский замок стоял над ними, нов до неприличия, — он ещё пах известью, краской и болотной водой. Хозяин прожил в нём сорок дней. Сорок дней — срок странный, из другой книги. Об этом вспомнят, но позже, много позже.

Поручик лейб-гвардии, шедший в хвосте колонны, был пьян ровно настолько, чтобы не задавать себе вопросов. Вопрос, однако, шёл рядом с ним.

Вопрос имел вид человека в тёмном партикулярном платье, с серым, будто ненадолго надетым лицом. Его не было в списках. Его никто не приглашал. Каждый в колонне полагал, что серого привёл кто-то другой. Талызин считал его человеком графа Палена, люди Палена — талызинским гостем. Сам же граф Пален о сером не думал вовсе — и это, пожалуй, единственное, что серый в ту ночь позволил себе сверх необходимого. Оттого никто не удивлялся, а если бы двое успели переглянуться, заговор кончился бы, не начавшись. Но серый шёл так, что переглянуться через него было нельзя. Правую руку он держал перед собой ладонью вверх, бережно, как держат озябшего птенца. На ладони лежали камни — тёмные, с тонкими жилками, числом двенадцать. Свет факелов до них как будто не доставал.

Поручик посмотрел на камни один раз — и забыл, зачем идёт. Осталось только знание приказа, гладкое и удобное, как перила: подняться, встать в проходной зале, никого не выпускать. Он даже испытал облегчение.

Наверху пахло воском и свежей краской. Свечи в шандалах горели через одну, прислуга экономила. Поручика поставили у окна проходной залы. Дальше пошли без него.

За окном был город. И вот тут с поручиком случилось то, о чём он потом рассказывал всю жизнь — сперва товарищам, потом внукам, потом одному лишь глухому лакею, которому было всё равно. Ему привиделось — в полусне, в свечном угаре, как угодно, — что город за окном не тот. То есть тот же самый: Нева, шпиль крепости, гранит. Но гранит был горяч. Над рекой стояло другое солнце — белое, высокое, — и у самой воды лежали львиные тела с человеческими лицами и смотрели на поручика терпеливо, как смотрят на давно знакомого. За стеной шумел сад — не Летний сад с галками и мокрыми статуями, а сад до всякой зимы, сад, ради которого строят стены. И женщина в глубине сада стояла у бронзового круга, по которому шли звёзды, и вела по звёздам пальцем. И поручик понял — со всей ясностью пьяного человека, — что от этого простого движения держится в мире всё: снег, гранит, царства, шампанское, его собственное глупое сердце.

Потом из дальних комнат — оттуда, где была государева опочивальня, — донёсся шум. Короткий крик. Возня, звон, падение чего-то мягкого. Потом настала тишина, у которой был вес.

Серый человек вышел из тех дверей последним. Остановился под свечой, раскрыл ладонь и стал пересчитывать камни, трогая каждый пальцем, как слепые считают деньги. Губы его шевелились. Поручику показалось — он готов был поклясться в этом на любом кресте, — что

серый сбился и начал заново, и опять сбился. И что в ряду камней была щербина, пустое место, как от вынутого зуба. Одиннадцать.

Серый поднял глаза — в первый раз за всю ночь — и посмотрел поручику в лицо.

— Вы ничего не видели, — сказал он. Голос у него был вежливый, канцелярский, голос человека, выдающего справку.

И поручик ничего не видел.

Через день в кабинете Зимнего дворца молодой государь подписывал первые бумаги нового царствования. У него было самое доброе лицо на свете и глаза человека, не спавшего трое суток. Среди бумаг лежал указ о возвращении Войска Донского из зимней степи: сорок один полк шёл на Индию, к тёплому Индийскому океану, — отцовская мечта, огромная и нелепая, как всё, что делал отец. Государь перечитал указ дважды. Ему подали чернильницу. На краю стола, в поздравительном ларце «от преданных друзей», лежал подарок: одиннадцать тёмных камней в старой оправе. Вещь, как доложили, античная, чуть ли не из македонских кладов. Государь рассеянно тронул оправу пальцем.

И отцовская мечта, такая огромная и нелепая, сделалась просто нелепой.

Он подписал. Казаки повернули на Иргизе, не дойдя до чужих гор. Лошади, говорят, ещё долго тянули мордами на юг. Индийский океан так и остался чужим. Хотя в отцовских бумагах, которые вскоре велено было разобрать и забыть, у этого океана стояло другое имя.

А поручик дожил до седых волос, до новых царствований, до чугунных мостов. Он рассказывал про ту ночь всем, кто соглашался слушать. Про серого человека, про щербину в ряду камней, про сад и женщину у звёздного круга. Ему не верили. К старости он и сам себе не верил: человек не может носить в памяти сад, которого не было. Но одно он помнил твёрдо — помнил помимо себя, как помнят шрам. Камней должно было быть двенадцать, а было одиннадцать. И значит, один из них остался лежать где-то в мире — маленький, тёмный, с тонкими жилками, — и ждать, пока его поднимут.

Снег перестал под утро. Над Невой поднималась заря — широкая, в полнеба, невысказанного цвета. Часовые на бастионах шурились и отворачивались. И ни один человек в целой империи — ни в целом мире — не знал ещё её настоящего имени.

Глава 1. Серафима

— Вы когда-нибудь проходили полиграф?

Мужчина в опрятном деловом костюме внимательно смотрел Серафиме прямо в глаза. Даже через экран она чувствовала: взгляд ищет момент её сомнения или испуга.

— Вы живёте одна?

— У вас есть родственники или друзья за границей?

Вопросы сыпались на Серафиму, как холодный дождь, — капля за каплей, проникая под воротник.

— Как вы узнали о нашей компании? Что вы знаете о том, чем компания занимается?

Сотрудник службы безопасности явно чего-то ждал. Глаза у него были спокойные, серые, и смотрели внимательнее, чем спрашивал голос. Но Серафима знала, как правильно отвечать. Ей очень нужна была эта работа. Она уже три месяца сидела без места после сокращения, и вдруг — подворачивается такой вариант. За очень неплохие деньги. Остался последний этап.

— Чем вы увлекаетесь? Есть ли у вас нестандартные хобби?

— Назовите книгу из тех, что вы прочитали, которая больше всего вас заинтересовала. Она отражает ваше мировоззрение?

Улыбка успела дойти до губ раньше, чем Серафима её остановила. Откуда они могут знать?

Серафима назвала книгу. Не ту, про которую думала — пришлось бы признаться, что тебе импонирует мировоззрение маньяка-каннибала, презирающего тех, кто не слышит, как плачут ягнята. Другую.

— Ну что же. Будете у нас — заносите вашу книгу, поболтаем.

Полиграф не понадобился, чтобы понять ответ.

Вакансия нашлась сама. Серафиму сократили три месяца назад, между утренним дейликом и обедом. В десять она рассказывала команде про статистику четвёртого квартала. В одиннадцать сорок её позвали в переговорку «Байкал». Переговорки в компании назывались озёрами, и за три года Серафима успела получить повышение в «Онеге» и выговор в «Иссык-Куле». Увольняли, как выяснилось, в «Байкале». Самое глубокое.

HR-директор сказала, что компания приняла трудное решение. Трудное решение далось компании легко: сорок минут на двенадцать человек. Прозвучали обычные для таких случаев слова «оптимизация», «трансформация» и «мы уверены, что для вас это откроет новые возможности». Серафима кивала. Она умела кивать так, что собеседник слышал всё, что она об этом думает, но HR-директор не слушала — она читала с листа.

Серафимой она была по паспорту. Это имя было бабушкино, тяжёлое и тёмное, как бархат. Выговорить его в пять лет она не могла — получалось «Сарма». Потом научилась, а возвращаться не стала. Так и осталась Сармой. И только бабушка когда-то говорила, понизив голос, будто выдавая семейную тайну: «серафимы, девочка, — это ангелы, которые горят».

В первый же день Сарма составила таблицу. Компании, вакансии, контакты, статусы. Таблицы Сарма любила за то, что в них мир обретал порядок. Не тот порядок, в котором все живое замирает. А тот, в котором оно обретает структуру — позвоночник, на котором все держится. Эволюции для организации первой жизни потребовались миллионы лет. Сарме — два часа. Что ж, бывает и хуже, подумала она тогда, допивая остывший чай на кухне.

Первый месяц мир вёл себя почти прилично. Вакансии множились, рекрутеры перезванивали, технические собеседования Сарма проходила так, как хорошая хозяйка нарезает морковь — почти не сбавляя темп. Трижды ей говорили: «ждите оффер». Один раз показали будущий стол.

А потом все оборвалось.

Одна рекрутерша, явно молоденькая, позвонила однажды и сказала растерянно, почти шёпотом: «Я не понимаю. Вы же идеально подходите. Так не бывает». И положила трубку так быстро, будто сказала лишнее.

Корпорация «Меридиан» появилась на исходе третьего месяца — «мы нашли ваше резюме, и оно нас заинтересовало». Направление стратегической аналитики, вилка такая, что о ней не хотелось говорить вслух, чтобы не спугнуть.

Очередную воронку собеседований Сарма прошла быстро, как проходят тёмный таможенный коридор. Единственный процесс за три месяца, который шёл как по маслу: зелёный свет на каждом светофоре. После девятнадцати ячеек с отказами в таблице это могло показаться странным. Но у Сармы была и вторая таблица — остаток на счёте против аренды, — и спорить с ней было нечем.

Оффер пришёл через час после разговора со службой безопасности. Подписать просили в понедельник, в офисе.

В ночь её разбудила музыка.

Плейлист назывался «Птицы». Сарма начала собирать его три года назад. Песни разных групп, разных городов и судеб, у которых было одно общее, чему она не находила слов. Ощущение, глупое и ни разу никому не сказанное, что песни эти попадали в неё без промаха, как будто кто-то знал, какие слова ей нужны, и пересылал их через чужие голоса.

Плейлист заиграл сам, из колонки на кухне. Телефон лежал в комнате, на зарядке, тёмный. Сарма стояла босиком в кухонном проёме и слушала.

Я когда-нибудь стану кошкой,
Что сидела на низком окошке
И ловила зрачком голубей.

Я когда-нибудь стану птицей,
Что бочком на окошко садится
И кошачьих не знает когтей.

Я когда-нибудь стану смертью,
Что уносит всех кошек на свете
И съедает всех голубей.

Смерть когда-нибудь станет кошкой.

Глюк системы, подумала она. Сарма выключила звук и вернулась в постель. Страшно почему-то не было. Было другое — как в детстве, когда перед первым школьным днём кто-то взрослый молча кладёт тяжёлую тёплую руку на плечо.

Офис «Меридиана» занимал башню, у которой в тот день не было видно верха — не из-за высоты, из-за погоды. Турникеты на проходной открывались бесшумно. Охранник не пожелал ей доброго утра — здесь никто никому не желал доброго утра, здесь прикладывали бейджи. Лифт поднимался так плавно, будто не двигался вовсе, и у Сармы заложило уши.

HR оказалась девушкой с прекрасным тёплым голосом — живая, весёлая, в зелёном платье. Она щебетала про пропуск, парковку и корпоративную «ДМС со стоматологией», ведя Сарму сквозь стеклянный ореол срассе, где за маленькими перегородками сидели сосредоточенные люди, и ни один не поднял головы.

В переговорке — маленькой, безымянной, без озера — на столе уже лежала папка с договором. Уголок папки прижимало пресс-папье: тёмный камень, гладкий, с тонкими светлыми жилками, приятной формы — рука сама хотела его взять.

— Это наш символ, — сказала HR, перехватив её взгляд, и засмеялась. — Талисман. У всех руководителей направлений такой.

Красивый, подумала Сарма. Где-то я такой видела.

Нигде она такого не видела.

Ручка была тяжёлая, чужая, протокольная. Договор был длинный, и где-то на середине второй страницы Сарма поймала себя на том, что перестала вчитываться — строчки шли гладкие, без единого шва, как речь HR-директора в «Байкале», как описание вакансии, как весь этот последний месяц.

Сарма расписалась.

Глава 2. Скорый

Билет Матвей купил за пятьдесят минут до отправления, наличными, в кассе, глядя кассирше в переносицу. Купе он выкупил целиком, все четыре места. Дорого, но три пустые полки стоили любых денег: почти сутки до границы он собирался ехать один.

Готовился он два дня, по всем правилам, которым сам когда-то учил молодых: наличные вместо карт, чужая куртка, телефон остался дома, включённый, — пусть лежит и смотрит в потолок. Из вещей — сумка, документы на выезд и пакет мандаринов: у сестры за границей росла племянница, которая писала ему печатными буквами и рисовала в конце каждого письма кота.

Три недели назад Матвею пришло приглашение. Он сказал «нет». Ему объяснили, что «нет» не предусмотрено форматом. Он объяснил, где он видел формат. Он был боевым магом второй ступени, одним из десяти сильнейших в школе, и за всю жизнь не проиграл ни одной очной схватки. Он знал, что уезжать надо тихо и быстро, и сделал всё тихо и быстро.

Вагон оказался полон.

Это было первое. Пятьдесят минут назад касса показывала пустой поезд — он сам выбирал места на схеме, серые квадратики свободных полок, весь вагон в серых квадратах. Теперь в проходе стояли люди, рассовывали сумки, двигали чемоданы, и заняты были все места, кроме его четырёх.

Бывает, сказал он себе. Продажи закрываются волной, кассы врут, агрегаторы выгружают билеты пачками. Бывает.

Второе он почувствовал носом. В вагоне пахло — не грязью, нет, вагон был чистый. Под запахом чая, металла и чужих духов лежал другой, ровный, одинаковый по всей длине вагона: сладковатый, как гниль под одеколоном. Так пахнет в комнате, где неделю стояли цветы у гроба, а потом их вынесли и проветрили. Запах не усиливался и не слабел. Он просто был везде.

Матвей сел на своё место, положил мандарины на столик и стал смотреть.

Смотреть он умел. Этому учат первым делом: видеть, не глядя, держать в поле десятерых, читать руки раньше лиц. Через десять минут он знал про вагон всё, и это всё было неправильно.

Мужчина через проход ел курицу из фольги. Ел он беззвучно — совсем: ни фольга не шуршала, ни челюсть не щёлкала, — и глотал раньше, чем успевал прожевать, а куски в фольге не кончались. Женщина у окна вязала: спицы ходили ровно, как поршни, но петель не прибавлялось — Матвей следил за полотном полчаса, оно не выросло ни на ряд. Через купе сидел ребёнок лет семи. За час он не попросил ничего: ни воды, ни телефона, ни в туалет. Дети так не умеют. Старик в конце вагона смеялся, глядя в телефон, — беззвучно, вздрагивая плечами. Экран телефона был чёрный.

И никто из них ни разу не посмотрел на Матвея. Но взгляд он чувствовал — постоянный, со всех сторон сразу, липкий, как прикосновение мокрого. Так смотрят не глазами.

Он заставил себя рассмотреть жующего — прямо, в упор, как на арене. Это было ошибкой. Лицо у мужчины было обычное, сорокалетнее, со щетиной и складкой у рта, — и чем дольше Матвей смотрел, тем хуже оно становилось, не меняясь. Как будто под кожей у лица не было встречного лица. У Матвея заныли зубы — все разом, ровной дугой. Потом тепло поползло из ноздри. Он поймал кровь платком, откинулся, задышал по счёту.

Проверка, scomандовал он себе. Имя сестры. — Есть. Имя мастера. — Есть. Название переулка, где прошло детство. — Есть, но пришло не сразу, с задержкой, как изображение по плохой связи. Что-то ело его память, с краёв, как огонь ест бумагу: сначала поля, потом текст.

Тогда он сделал то, что делал тысячу раз, — поставил щит. Щит встал сразу, чисто, звонко: сказала школа. Матвей присидел под ним минуту и понял вторую страшную вещь

этой ночи. Щит держал. А то, что его ело, было уже внутри щита. Оно вошло вместе с ним, как запах на одежде. Оно не пробивало защиту, потому что не нападало. Оно ело.

Ударить? Он посмотрел на жующего, на вязальщицу, на ребёнка — и понял то, что делало их непобедимыми. Бить было некого. Каждый из них по отдельности был человеком: паспорт, билет, курица, носки. Удар боевого мага по пассажиру скорого поезда — это не бой, это статья и диагноз. Их сила была в том, что поодиночке они были никем. А тем, что его ело, они были только все вместе — и это «все вместе» нигде не имело тела.

Он пошёл по составу.

В соседнем вагоне было то же самое: полный вагон, ровный сладковатый запах, ни одного спящего. Полночь — и ни одного спящего человека. В плацкарте лежали на полках с открытыми глазами, глядя в изнанку верхних полок. В следующем — то же. В тамбурах дышалось легче, и он не сразу понял почему. Потом понял: в тамбуре он на несколько секунд оставался один, и то, что ело, теряло его — ненадолго, как теряет прибор отползшего краба.

У стоп-крана он остановился и положил ладонь на рукоять. За окном шла ночная равнина, чёрная, без огней. Поезд остановится в поле, подумал он. Я выйду в темноту, один. Он посмотрел в окно внимательнее. Поезд проходил переезд: единственный фонарь, шлагбаум, будка. У шлагбаума стояли трое и смотрели на проходящий состав. Не на состав — на его окно. Головы вели его, как стволы. В полях они тоже были.

Он убрал руку и пошёл назад.

У служебного купе его окликнула проводница — немолодая, отёчная, с усталыми добрыми глазами, из тех, кто тридцать лет подряд будит чужих людей в четыре утра и до сих пор делает это виновато.

— Что ж вы не спите-то? Чаю хотите?

Возле неё было легче. Заметно легче — как в тамбуре, только теплее. Матвей стоял у её двери, пил обжигающий чай из стакана с подстаканником и чувствовал, как возвращаются поля памяти. Переулок пришёл сразу, без задержки. Он ещё не знал правила, которое узнают после него другие. Он просто думал — живой человек. Как же легче рядом с живым человеком.

— Посидите со мной, если хотите, — вдруг сказала она, понизив голос. — Что-то мне не по себе сегодня от этого вагона. Едут — и хоть бы один захрапел.

Вот оно, подумал Матвей. Она чувствует. И следом пришла вторая мысль, боевая, привычная, отработанная за жизнь до рефлекса: если я останусь рядом — они подойдут ближе. К ней.

— Всё в порядке, — сказал он. — Люди как люди. Идите отдыхать, я вас больше не побеспокою.

Он сам закрыл за ней дверь служебного купе. Своей рукой.

Потом он вернулся на место, сел у окна и стал ждать, потому что бегать по составу больше не имело смысла. Состав был какой надо, весь, от локомотива до хвоста, и куплен он был, как выяснилось, не ради него одного — ради того, чтобы в нём не было никого другого.

Они перестали притворяться около трёх.

Ничего не произошло — в этом и был весь ужас, что ничего не произошло. Просто жующий положил недоеденную курицу. Вязальщица опустила спицы. Старик перестал смеяться. Ребёнок встал. И все головы в вагоне повернулись к Матвею одновременно, одним движением, беззвучно, как перешёлкиваются строки на старом вокзальном табло.

Дальше было не больно. Из него как будто медленно выдыхали — так, как выдыхают из надувной лодки, которая села на камни. Память гасла кругами, от краёв к середине: сначала ушли лица учеников, потом голос мастера, потом схватки, все до одной, вместе с победами. Он держался за середину, за самое простое, и серединой оказались не заклинания и не школа — печатные буквы и кот, нарисованный в конце письма.

Последним усилием — тем, которое на арене выигрывает бой, — Матвей поднял руку и поставил щит. Не вокруг себя.

Вокруг двери служебного купе, в четырёх вагонах отсюда.

Утром поезд пришёл к границе точно по расписанию. Пассажиры выходили обычные: мятые, заспанные, с детьми и чемоданами, ругались на узкий перрон и рассасывались по вокзалу, как рассасывается любая толпа. Проводница шла по вагону, собирая бельё, и на двенадцатом месте не добудилась пассажира. Приехали врачи, потом полиция. Сердце, сказали врачи. В сумке нашли документы и пакет мандаринов — три штуки.

Проводница потом рассказывала сменщице — не для протокола, протокол такого не берёт, — что всю ту ночь ей было тихо и спокойно, как в детстве: будто её купе кто-то держал в тёплой ладони. Сменщица пожала плечами.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.